

ВСТРЕЧА

О Юрии Любимове и Театре на Таганке

Позвонил из Кёльна в Штутгарт. Было 7 утра. Ответил заспанный, но знакомый голос. Я назвал. «Помните еще!» Подобные вопросы, когда их задают на рассвете и после разлуки протяженностью в несколько лет, не слишком-то уместны. «Жизнь, оказывается, очень длинная штука», — попробовал я усмехнуться. «И очень хорошо, что она длинная», — ответил поразительно знакомый, словно вчера слышанный в Москве голос. Это был Юрий Любимов.

МЫ ВСТРЕТИЛИСЬ несколько недель назад в Штутгарте, где Любимов заканчивал в оперном театре работу над своим спектаклем... Теперь Любимов в Москве — приехал по приглашению нынешнего главного режиссера Театра на Таганке Николая Губенко. И мне хочется передать нашу беседу, как отвечал Юрий Петрович на мои вопросы, о чем думал, собираясь приехать в Москву.

— Найти однозначный ответ на то, как следует вести себя, когда вокруг многие поступают, мягко говоря, не лучшим образом, — такой ответ на все случаи жизни и во все времена вряд ли возможен. Может человек хлопнуть дверью или не должен этого делать! Когда имеет право покинуть свой дом, а когда — нет!.. Не стану скрывать, Юрий Петрович, в тех разговорах и спорах, которые велись все последние годы, я не был среди ваших сторонников. Не вам разъяснять роль Таганки в бездуховные времена застоя. И нельзя было, на мой взгляд, оставлять плацдарм, пока его не отняли. Да, были попытки отстранить вас от руководства театром. Но они не удалась. В конечном счете театр оставили вы — так во всяком случае представляется многим, возможно, и не до конца посвященным. Говорю об этом с тем правом, которое дает мне пережитое: и сам оказывался в минувшие годы среди тех, кого провоцировали, подталкивали, лишили любимого дела. Кстати, недавно я узнал о том, как запрещали в Театре сатиры спектакль «Теркин на том свете». Его постановщик Плещеев решил подать в отставку. И вот что он услышал от Твардовского: «Не смей! Не смей отдавать театр. Тебя здесь специально провоцируют на это, ради этого травят, именно этого от тебя добиваются. Мы с тобой не имеем права уходить, мы обязаны держаться до конца...»

— Не для оправдания, а истины ради напомню обстановку, в которой оказался четыре года назад. Пережив смерть Володи Высоцкого, Театр на Таганке старался осмыслить все сложности, которые существовали этой трагедии, и создал спектакль памяти товарища. Спектакль запретили. Административное решение, которое унижало достоинство театра. Следом «закрывают» «Бориса Годунова». Требуя прекратить репетиции «Бесов», «Самоубийцы».

Это была моя третья попытка поставить пьесу Николая Эрдмана «Самоубийца». Автор сам читал ее театру. Эрдман был замечательной личностью трагической судьбы. Его преследовали, выслали, сажали, а он упорно не желал не только восхвалять, но и упоминать имя Сталина. К нему прибежала как-то группа писателей: «На даче у Горького будет Сталин, поедет, он простит тебя». Знаете, что ответил Николай Робертович: «Я занят, сегодня у меня большой заезд». Все знали, что он постоянно бывает на бегах, но решили — на этот раз велят дурака. А когда приехали, дома его не оказалось, был на бегах... В моей жизни Николай Робертович занимал очень многое. И поставить «Самоубийцу» я считал своим долгом. Не дали...

После всех этих запретов мы сидели в театре и обсуждали, кого просить на этот раз, кому писать. И решили, что лучше разойтись. Думаю, что об этом решении труппы вы не знали. Сказался, пожалуй, мой авторитет: я считал, что нет

смысла влечить жалкое существование, когда мы не можем играть то, что хотим. Прежде я всякий раз делал вид, что все в порядке. Ко мне прибегали в панике, а я успокаивал: «Ничего, бывает, ну «закружили» спектакль, постараемся убедить, чтобы «открыли». Потому и пел Высоцкий: «И нам сказал спокойно капитан: «Еще не вечер»... Но когда доходишь до полного нервного истощения, трудно сохранить самообладание. Сколько можно было ходить по высоким кабинетам? Помню одного из обладателей такого кабинета: он говорит тихо-тихо, так тихо, что нельзя ничего понять, и все время что-то записывает. А когда ты уже у дверей, произносит совершенно внятно и определенно, чтобы в обморок ты падал уже на руки секретарше: «Никакого Булгакова, никакого Достоевского нам не надо...»

— Уехал, вы и доставили удовольствие тем, кого справедливо поминаете недобрым словом. Я тоже напомню строчку Высоцкого: «Не волнуйтесь, я не уехал, и не надейтесь, я не уеду».

— Я уехал в Лондон ставить спектакль. В преклонном возрасте, с женой и маленьким ребенком не уезжают навсегда, бросив все вещи, оставив даже библиотеку, которую собирал еще отец. Когда вошли в квартиру, то, надо полагать, увидели чашки на столе, из которых мы пили чай в последнее утро...

Беседы, которые вели со мной в канун отъезда, были удручающими. Что станет с театром? Мне так и не ответили. Сказали: «Поезжайте, это нужно, а вернетесь — поговорим».

В Лондоне все складывалось сложно. В это время был сбит южнокорейский самолет. Экстремисты призывали мстить, грозились подложить бомбу, хотели бойкотировать спектакль. В эти малорадостные минуты в нашем посольстве обо мне никто не вспомнил. Занялись, когда появилось мое интервью в английской газете. Думаю, что ничего особенного, тем более по нынешним временам, я не сказал (если, конечно, не стоять на позиции, что нельзя выносить сор из избы, лучше засорить избу до потолка и переезжать в другую). Я сказал то, что думал: политика в области культуры меня не устраивает. И назвал имена тех, кто, на мой взгляд, в этом повинен. Последнее и вызвало гнев. В театр явился сотрудник

посольства. Его буквально трясло от моего интервью. Он потребовал, чтобы я немедленно отправился в посольство. А я отвечал, что не могу прерывать репетицию «Преступления и наказания». Когда мы уже вышли к актерам, он нарочито громко сказал: «Ну что же, преступление налицо, будет и наказание». И тут во мне что-то замкнулось. Не следовало, наверное, но я сказал переводчику: «Переведите, чтобы все слышали, как с нами разговаривают». А сам пошел репетировать: состоит премьера — тогда поговорим. После премьеры я передал в посольство положенную сумму из заработанных денег и заявление, где писал, что не был четыре года в отпуске и прошу разрешить мне лечение в Лондоне. Еще раньше меня одолевала нервная экзема. Я приложил к заявлению справку, полученную в лондонском госпитале.

Почему я так поступил? Сознаться, что тайне я все-таки надеялся: со мной в конце концов посчитаются, разрешат выпустить эти два спектакля. Я писал и в театр, и в управление культуры, что, как только вылежусь, готов приехать и работать над спектаклями. Сперва мне сообщили, что разрешено остаться на лечение, потом потребовали немедленно вернуться — я не поехал. Считайте это моей политической наивностью, но я думал, что смогу таким образом оказать давление, убеждал себя: вспомню, что мне уже шестьдесят шесть, сочту возможным пойти навстречу... После смерти Андропова в июле 1984 года я был лишен советского гражданства...

Что же касается Твардовского — вместе с группой авторов «Нового мира» мы пришли к нему, уговаривали пойти и попросить, чтобы не отнимали у него журнал. Твардовский стукнул кулаком по столу: «Не буду просить. Не хочу унижаться. И вы все закройте дверь с той стороны».

Самым тяжелым за время разлуки с вами было известие о том, что среди десяти, кто подписал письмо так называемого «интернационала сопротивления», был и Любимов. Отвечая в «Московских новостях» на этот манифест, я вспоминал, как составляли мы с вами манифест совсем другой — будущего театра, Театра на Таганке.

Тогда волновало вас лишь одно: Таганка на краю города, кто же поедет в такую даль! Создать же театр Революции, подобный театру 20-х годов, — здесь сомнений не было. А теперь, когда осуществляется то, к чему звали те же спектакли на Таганке, вы оказываетесь среди тех, кого не радует ни одна подвижка в жизни советского общества, кто следует принципу: чем хуже, тем лучше.

— Печально, если это письмо сыграло пагубную роль, и без него было предостаточно недоразумений. Я и сейчас не отказываюсь от того, что тогда мною владело: необходимы гарантии необратимости перестройки, хочется побольше действительности и меньше слов. А вот какое выражение это приобрело в письме — дело иное...

Вы не представляете себе, как все здесь происходит. Все невероятно разобщены, и начинаются бесконечные звонки, чтения по телефону. Скажем, Эрнст Неизвестный и я настаивали, что так не следует писать. Мне читали по телефону текст, переведенный уже с английского на русский, то есть из третьих рук. Какие-то фразы меня не устраивали, но меня убеждали, что основная мысль, которая всеми движет, выражена... Разумеется, того заголовка, которым кто-то снабдил письмо, «Пусть Горбачев предоставит нам доказательства», и в помине не было. Далеко я и от какого-либо «интернационала сопротивления».

Я вообще не силен в политике, да и времени нет ею заниматься. Здесь очень трудно выжить. Так роскошно, как у нас, ставя один спектакль в год, не проживешь. Приходится делать минимум по три-четыре спектакля. Эмиграция — это ужасно. Это одиночество, это постоянные взаимные пересуды: кто? с кем? почему? Сейчас, наверное, и меня начинают называть предателем.

— Юрий Петрович, вам исполнилось семьдесят. Приближается время, когда трудно что-либо менять в жизни. И все-таки думаете ли вы о своем возвращении домой? Если это слишком личный вопрос, давайте я выключу магнитофон.

— Нет, зачем же, не выключаю. Конечно же, я об этом думаю и, конечно же, хочу вернуться. Но пока есть ряд контрактов, которые если я нарушу, то потеряю всякую репутацию и просто не вынесу финансово — придется платить неустойку. Надо выполнить прежде взятые на себя обязательства.

Мы проговорили с Любимовым полночь. Сидели в ночном кафе чужого театра, в чужом городе и в чужой стране. Да и сама беседа, честно говоря, давалась мне нелегко. Жизнь приучила многое не подвергать сомнению. Как в той детской игре: черное и белое не называлось. Уехал — плох. Смолчал, стерпел — хорош. Вернулся — только с повинной головой. Но этих слов топором рубленых представлений недостает, не хватает для того, чтобы дышать полной грудью в нынешней жизни. Нужны иные подходы, иные оценки, когда, ничего не спрямляя в административном раже, мы постигаем подлинную сложность, рожденные нашей такой непростой жизнью.

Надо искать ответы и делать это не откладывая. Начиналась была переписка с Виктором Некрасовым. Сам он писал в Москву, что новости

о перестройке дорожке ему всех французских новостей. Говорили, что заплакал, когда прочел статью Вячеслава Кондратьева в «Московских новостях», где говорилось, что пора вернуть на полки библиотек «В окопах Сталинграда». Некрасов готов был сотрудничать с «Московскими новостями». Некрасова нет. А вот упреки, которые обращались в связи с этим в адрес «Московских новостей», у кого-то еще на памяти.

Еще в Штутгарте я спрашивал Любимова: что ждете от встречи с Москвой? И тогда же он мне отвечал:

— Что может ждать человек от встречи с городом, где прожито шестьдесят шесть лет! Я соскучился по Москве. Хочу встретиться с родными, друзьями. И очень хочу помочь театру закончить работу над «Борисом Годуновым». Просмотры, которые были перед «закрытием» спектакля, убедили меня, что он может стать для театра важным шагом. Когда я начинал эту работу, то сведущие люди убеждали: ничего путного не выйдет, Пушкин писал эту пьесу, очевидно, для чтения, а не для сцены. Мне же кажется, я уверен: пушкинский «Борис Годунов» получит признание драматургического шедевра.

Поэтотил этот вопрос и теперь: оправдались ли ожидания?

— Да, более чем. Все эти дни спать удавалось не более четырех часов: столько хотелось почитать и столько надо было прочесть. У меня сложилось впечатление, что все понимают необходимость перестройки, понимают, что отступать дальше некуда. А если так, если понимают, что отступать дальше некуда, — значит и не отступят.

Прожив всю жизнь в Москве, я, наверное, впервые ощутил, что такое московское гостеприимство. Да и есть ли другой город в мире, где идет дядька по улице с канистром в руках и спрашивает: «Кваску хочешь?..» Я переполнен той добротой и сердечностью, которую испытал в театре не только от актеров, но буквально от всех, включая билетеров, электриков. Не говорю уже о зрителях — давнишних поклонниках театра. Бывало, шел на репетицию, и приходилось искать какую-нибудь боковую дверь, чтобы не встретиться со зрителями, не стать виновником очередной демонстрации. Мы же до сих пор остергаемся этой формулы — нездоровый ажиотаж, хотя пора бы и перестать бояться.

Рад был увидеть свои возобновленные спектакли, надеюсь, что скоро увижу афишу «Бориса Годунова», где будет и моя фамилия.

Я глубоко благодарен гостеприимству Жанны Болотовой и Николая Губенко. Все десять дней я жил у них, хотя имел столько предложений переночевать, что хватало бы до конца дней моих. Губенко живет на Комсомольском проспекте, и мне знаком этот дом: здесь была квартира моей мамы. А Губенко, когда начинал у нас в театре, жил не имел. Я узнал, что он хочет в котельной, и отвел к маме — у нее он и жил. Как видите, все имеет свое удивительное продолжение.

Приехать вновь в Москву хотелось бы в начале будущего года, когда исполнится четверть века Таганки. Надо возобновить «Живого» Можая. А потом за мной долг — «Самоубийца» Эрдмана.

Тогда, в Штутгарте, я отметил про себя: Любимов мало изменился за минувшие годы, быть может, как-то осел. И подумал: минует паспортный контроль в Шереметьево, и все пройдет. Так и было. А вместе с этим ушло и другое — то, что казалось почти невыполнимым: приезд Любимова в Москву, репетиции в театре.

Любимов сидел за своим знаменитым режиссерским столиком в зале, а на сцене шла репетиция «Бориса Годунова», словно нет в этом ничего удивительного, словно и не прерывались эти репетиции.

Любимов советовал, сердился, показывал. Я же думал: как важно действовать в нашем времени. Действовать, не откладывая ни на час, ни на минуту. И как многое это может дать. Как правильно поступил Губенко, пригласив в гости Любимова. Как правильно решил Любимов, отозвавшись на это приглашение. И как гуманно наше время, какой непривычной широтой оно отличается, если сумели понять этих людей. Понять и пойти им навстречу.

Егор ЯКОВЛЕВ.



Встреча на московской улице.

Фото
Павла КАСИНА.